

## ГЛАВА VII

«Незаконная» жизнь. — Выстрел Засулич. — Борьба лавристов и народников. — Каблиц и Плеханов. — Второй раз аттестат зрелости. — Конец «незаконной» жизни

Прописывающийся Юноша вместе с непрописывающимся Попкой селится на квартире у двух молодых рабочих, одного слесаря, другого токаря по металлу, принадлежащих по своему заработку и виду к аристократии петербургского трудового люда и в качестве уже опытных членов бунтарской группы смело снимающих две чистых комнаты по Симбирской улице у купчихи-мещанки Инны Коскайнен как раз над обширной квартирой первого этажа, которую занимает сам господин жандармский полковник фон-Трахтенберг. Так охотник на тигров пристраивается поближе от логова зверя, чтобы лучше наблюдать за хищником и отучать его от врожденной кровожадной подозрительности...

Ново-евангельский Юноша первое время в восторге. В Орел к празднику отправлено длинное-предлинное, наивное-пренаивное и чувствительное письмо, в котором идейно-блудный сын изясняет, что благодарит отца и мать за все их прежние хлопоты и попечения, но уходит от них навсегда, неизвестно куда, ибо невозможно жить в царстве лжи и неправды, «особенно теперь, когда после войны у мужика последнюю корову со двора за подати сводят». (Домочадцы после рассказывали Юноше, что в этом месте мать особенно горько всплакнула, а отец разбушевался и просил ему все показать да у какого мужика и когда это он свел последнюю корову!) Письмо Юноша заканчивал отрясением праха с ног своих на всю приходившуюся ему часть движимого и недвижимого и был — увы! — косвенной причиной возникновения одного из столь обычных в старой купеческой среде смутных дел о наследстве, которое, к сожалению, больно зашибло своим банальным окончанием и ни в чем неповинных младших членов семьи...

Но в то время Юноша ничего этого не знал и потому был спокоен и радостен в сознании исполненного долга. Был он тоже радостен и потому, что жил с настоящими рабочими людьми и почти (!!!) такой же, как они, жизнью. То-есть, конечно, он не работал по-ихнему с 6 час. утра до 7 час. вечера и, кроме первых двух дней, избегал есть их простой обед из двух блюд (такого он у Еленки не едал!). Но он делал все, что мог, чтобы только участвовать в обиходе их существования и быть им чем-нибудь полезным. Так он усердно и неловко щепал лучину, усердно и столь же неловко целыми получасами ставил самовар, пока кто-нибудь из товарищей не прекращал этого надругательства над все выносящей, но «боящейся» распаяться медью. А главное, он читал сожителям и как читал! Газеты, журналы, книги, брошюры, листовки, прокламации, изящно печатавшийся тогда в тайной типографии подробный отчет бесконечно тянувшегося большого процесса и т. д. — все это служило Юноше предметом чтения и комментариев, в задней комнатке второго этажа, в большом деревянном доме на Симбирской, как раз над службами величественного жандармского полковника... Товарищи по квартире оценили это усердие, да и вообще вели себя так, что Юноша все время чувствовал себя согретым их грубоватой, но искренней лаской. Особенно один из них, Ваня, — забыл теперь его фамилию, а другого забыл и имя, — по-дружески относился к своему тезке (Юношу ведь тоже теперь звали Ваней или Ванька Николаевич, на языке хозяйки)...

Увы! безоблачное счастье продолжалось для Юноши и тут недолго. Его стал жестоко сосать червяк, но сосать воистину в переносном смысле. Чувство исполненного долга принесло спокойствие духа, спокойствие духа возвратило аппетит... Ах, как захотелось есть молодому организму!.. Я не знал, что делать, как забыть про еду, когда мои товарищи уезжали на завод, близости от которого они в полдень завтракали, и я оставался в квартире один на целый день, выпив всего стакан чая с куском ситника.

Саша Богданович, который тоже голодал, но у которого была уйма приятелей в Питере, с утра начинал кружить по огромной столице и успевал нередко «садиться на пищу», принося даже мне порою кое-что «на поправку». Но мне в мои с'едобные места нельзя стало ходить. Уморив гражданскую смертью сразу купеческого сына и студента-медика, я уже не мог восстать из мертвых и отправиться на еду к Николаевскому, Грацианскому или Богданову, тем более, что отец мой, хоть и не пожелав донести о моем исчезновении начальству, явился в Питер и постарался предупредить всех своих и моих знакомых о том, что

я «пропал», и что от меня теперь можно ждать самых страшных революционных вещей...

Галлюцинациями развевались предо мною столы, уставленные яствами, у моих привилегированных знакомых.

И пироги, —

Вот такой длины,

Вот такой-то ширины, —

и сиги, и бараньи ноги, и много бараньих ног, и даже чай с печеньями дефилировали перед моими глазами на бесконечно длинных гастрономических смотрах. А редкую ночь я не завтракал у Полилова и не раздирал проклятых, таких сочных, но увы, зашитых в фланель бифштексов...

И стал зеленеть ново-евангельский Юноша, — не так, как полагалось бы по законам естества всякой молодой травке, а как зеленеют люди, которым постоянно и сильно хочется есть, есть же нечего... Спасли родственные души, души-сестры, души-матери, которые проникли тайну нашего нелегального существования. У Богдановича была масса поклонниц. У меня поклонниц, правда, совсем не было, но зато я сам поклонялся целому ряду знакомых петербургских молодых женщин и девушек, всех тех, которых я встречал на курсах, сходках, вечеринках и которых я, вырвавшийся из купеческой грязи, возносил до небес идеала.

Когда наиболее хорошо знакомым из них было по секрету сообщено, что Русанов перешел на нелегальное положение, и что как ему, так и его товарищу приходится очень туго, то сейчас же этот корпус гражданских сестер милосердия развернулся самым широким и деятельным строем.

Надо было найти нам хоть какие-нибудь занятия, работу, место, чтобы возместить исчезнувший у евангельского верблюда двадцатирублевый горб, без которого он мог бы с чересчур большой легкостью проскользнуть через игольное ушко в новый лучший мир. Забегали по конторам газет, ища адресов подписчиков для переписки. Бросились в переводческие, по большей части женские общества, забирая для нас работу на свое имя. Осаждали адвокатов с просьбой отдать «двум чудесным людям» часть писмоводства. Была произведена самая тщательная статистика неспособных петербургских детей (привилегированных, то-есть платящих сословий) в возрасте от 3 до 23 лет и устроено энергичное давление на родителей с целью вменить им в обязанность для всех неуспевающих чад приобрести учителей и репетиторов.

В конце-концов некоторая работа была нам таки найдена замечательным кружком из дюжины слушательниц медицин-

ских курсов, что жили на Песках, возле Николаевского госпиталю, и носили забавное название «двенадцати спящих дев», так как именно никогда, кажется, не спали: как бы поздно вы ни зашли к нам, ученые отроковицы неизменно сидели у себя в общей комнате под большой светлой лампой, пили чай, и либо изучали анатомию, либо горячо спорили о будущем России, а в ней о будущем женщины...

Немудрено, что такому удивительному сообществу, члены которого спали вдвое меньше простых смертных и развивали в течение дня самую разнообразную и кипучую энергию, удалось достать нам работу в виде прошовых переводов в одном из эфемерных предприятий неизвестного в то время афериста, носившего провиденциальную фамилию Трубникова. Мы не стали однако предаваться суеверным размышлениям на тему Номеномен (в трубу!) о прочности нашего заработка, а принялись усердно за дело. Точнее, принялся усердно я, так как Богданович нашел в Питере один из своих южных кружков и целиком залез в конспирацию.

Увы, некое комическое происшествие заставило нас скоро сняться с места, пуститься в пространство и потому, за неимением квартиры, утратить трубниковские переводы. Однажды яркой морозной ночью Попка, Ваня и я выбежали, как были в блузах, на минуту в хозяйкин чулан взять пачки с книгами и, изрядно продрогнув, уже возвращались в припрыжку к двери нашей квартиры, как вдруг в чистом воздухе резко раздался звук шпор, и на длинной лестнице, ведущей снизу к нам, во второй этаж, послышалось грубые голоса.

Попка, как маленький ягуар, прыгнул снова в чулан и потащил меня за собой. Мы насторожились.

Звон шпор приближался. Голоса становились все яснее.

— Чего ты людей-то булгачишь? Сказано тебе 11-й номер: туда и вали прямо, а по другим квартирам не слоняйся...

— Да номеров-то не видать, Михайло Иваныч: на дворе месяц, а тут такая темь, словно в подвале...

— Темь!.. А еще жандарм... Зажигай свечу-то, что я тебе дал, да и звони!..

Голоса остановились как раз у нашей двери: то был злополучный номер 11-й. Раздался пронзительный звонок.

Попка вцепился мне в плечо и таинственно шепнул:

— К нам, брат, эскадра привалила!.. Как только они в дверь, мы на улицу!.. На Фурштадтскую!.. Айда, за мной!.. Раздвигай!.. Понял?

Я ответил движением плеча.

Из-за двери послышался полусонный лепет нашей хозяйки:

— Кто там?

— Отворяйте сударыня: свои приехали! Будете довольны-с! — молодцевато и, как нам показалось, с самой возмутительной издевкой воскликнул один из жандармов.

Дверь с треском распахнулась.

Прошла минута-другая, пока люди, шумевшие у двери, все исчезли в нашей квартире. Оттуда раздавались голоса наших приятелей-рабочих и громкое женское всхлипывание...

— О, черти! — шопотом проговорил Попка и опять-таки, как маленький ягуар, в три прыжка был внизу лестницы, залитой на повороте ослепительно голубым сиянием высоко взобравшегося месяца.

Я за Попкой. Занятый в точности исполнением его предписания «раз-два-три», я плохо смотрел себе под ноги, и как раз по середине лестницы, в ее еще неосвященной части, налетел на что-то очень громоздкое и тяжелое, что заставило меня жестоко спотыкнуться и прокатиться по обледенелым ступенькам почти вплоть до выходной двери... От боли и неожиданности я закрыл глаза.

Я страшно расшибся. Щупаю голову, руки, ноги — кажется, все цело, но во всем теле такая ломота и слабость, что не могу подняться... Глаза снова закрываются.

— Ну, вот и конец приключений: недолго напрыгался! — стараюсь я говорить себе с равнодушной иронией, от которой, однако, хочется плакать: — вот и заберут тебя сейчас, раба божия, а что ты хорошего успел сделать?

Двадцатиградусный мороз совсем привел меня в себя. По лестнице раздаются шаги... Кто-то наклоняется надо мной... Жандарм? Нет, рабочий Ваня!..

— А ты что, тезка?.. Чего лежишь?.. А Попка?

Я слабо махнул рукой в сторону исчезнувшего.

— Удрал... А я вот расшибся... Жандармы...

— Какие жандармы! И жандармы не в жандармов!.. Это к нашей хозяйке сестра из Финляндии приехала, да по ошибке и шась с багажем в первый этаж. Ну, а там господин полковник ее в лучшем виде принял — известно, военная косточка, кавалер хоть куда — и своих жандармов в провожатые и носильщики дал... Мы и сами с товарищем в первую минуту думали, что влетели, а на наши слезы-то на сиротские господь бог и смилостивился и превратил военного фараона в мирного... Проклятые жандармы и забыли на лестнице эту чортову корзину с бельем!.. Ищут теперь!..

Ваня весело посмеивался и все старался привести меня в более или менее вертикальное положение, пока, наконец, не достиг этого и не потащил меня, словно пьяного, наверх.

По лестнице, оживленно разговаривая о только что полученном жирном могорыче, сходили жандармы, много жандармов, рослых, усатых, здоровых, одетых по-домашнему в фланелевые рубашки, и иронически поглядывали на наше скорбное восхождение. А в передней стояла перед зеркалом и усердно причесывалась молодая, толстая, беловолосая финка, делясь то смехом, то слезами со стоявшей тут же и восхищавшейся ею сестрой.

«И все это Лорелея наделала своим пением!»

На следующее утро я отправился на Фурштадтскую, на знакомую мне барскую квартиру, куда должен был по условию скрыться вчера Попка и куда часто влекли его голубые глаза дочери знатной хозяйки. С пальто и фуражкой Попки под мышкой я стоял в смущении и раздумьи в передней и слышал ясно доносившийся из соседней комнаты голос Попки, который с одушевлением, кашляя и пыхая папироской, рассказывал, — вероятно, уже не в первый раз со вчерашнего дня, — как ему удалось еще и еще утечь, но как его приятель, «знаете, вот этот такой юненький и неопытненький», остался в лапах жандармов...

— Я, знаете, еще в чулане чувствовал, что ему сноровки нехватает..

Робко, просовывая вперед через дверь, вроде как для защиты и оправдания, пальто и фуражку Попки, я переступил порог большой светлой комнаты, где сидело с десятков молодых женщин и мужчин...

Эффект получился неописанный. Все перестали говорить. Водворилась тишина. Была слышна лишь идилическая симфония большого кипевшего самовара.

Но ново-евангельский Юноша, ставший на миг центром всеобщего внимания, чувствовал себя в это время не героем, а идиотом.

— Как?.. Это ты?.. Это вы?.. Каким образом?.. Бежали?.. — раздалось наконец со всех сторон.

Надо было как-нибудь объясниться.

Юношу терзал стыд, и он снова решил прибегнуть к находившейся под рукой — под мышкой — диверсии:

— Вот твое пальто... и твоя фуражка, Попка... — умоляюще промолвил Юноша.

— Вижу... Но сам-то ты как?

— Да, да... Сами-то вы как?

Объясниться, надо было объясниться!..

Делать было нечего, и Юноша принялся самым бесхитростным образом за свое повествование... О, ужас! Его ждал колос-

сальнейший успех рассказчика, — успех, конечно, не по его вине. Но вся эта история была так нелепа, а деяния Юноши еще настолько усиливали ее комическую сторону, что с третьей же фразы слушателями овладел неистовый, безудержный, молодой смех.

Меня перебивали, мне кричали: bravo! bis!.. Мне предлагали чаю, варенья, сливок, печений, мази растереться и той же самой мази на бутерброд: «только, голубчик, рассказывайте, о-о-ох, рассказывайте только, как вы это там о чухонку... то бишь о корзину.. нет, о полковника Трахтенберга трахнулись...»

Хохотали все, сначала на рассказ, а потом так себе, только потому, что молодые нервы просили отдыха и веселья, потому что вести и нелегальные отчеты с большого процесса заставляли молодежь жить это время ненормально приподнятою жизнью, и порою так хотелось забыться и от всех этих ужасов и мерзостей, и даже от возвышенных слов и дел.

Смеялся даже желчный Попка, хотя теперь и его прыжок ягуара с Симбирской на Фурштадтскую рисовался в несколько комическом освещении, и это его видимо раздражало. Но, вдосталь несмеявшись, вся наша компания стала раздумывать, не может ли и этот водевиль кончиться не по водевильному. Ночное приключение могло возбудить толки, и синий тигр мог другой раз зашевелиться уже всерьез.

Так как Попка жил по Симбирской без прописки, а я проживал там по паспорту, хоть и фальшивому, то благоразумие требовало предварительно произвести на местах некоторую рекогносцировку. «Нелегального революционера» Богдановича молодежь не пустила от себя. Мне же, хотя и нелегальному, но собственнo ни в чем пока не скомпрометированному, было дано дружеское поручение разузнать, как и что.

Когда я обратился на Симбирской с этим вопросом к своим товарищам-рабочим, они прямо сказали, что, по их мнению, нам с Попкой будет, пожалуй, лучше уйти поскорее с их квартиры. О нашем приключении болтали уже на дворе, в пивной и в овощной. Знакомая охтенская молочница рассказала Ване даже целую историю, как у них в мезонине, видишь ли, была сходка, да ее накрыли: один сицилист в одном белье за Неву убег, два через окно по крыше на Финляндский вокзал пробрались, и только одному жандармы успели подножку на лестнице дать, да тут же его к полковнику на кухню под арест свели. «А ты, Ванюшка, все проспал...»

Приходилось распрощаться с нашими славными ребятами и устремляться в поиски новой квартиры, а пока ночевать по

разным знакомым. Попка исчез, не явившись больше на Симбирскую. Я же пришел, чтобы только взять вещи и заявить, что нашел работу в Финляндии. И снова началось наше кружение в Питере,—

По малу, по полсаженьки, низко перелетаючи.

Во время этих перелетов мы залетели и в высокие палаты пана Венцковского<sup>69</sup>, — выражаясь торжественно и даже весьма торжественно, ибо палаты эти состояли из небольшой, но очень чистой и недурно убранной комнаты в маленьком домике на одном из внутренних дворов по Большой Дворянской. Тогда я еще не имел удовольствия лично знать уважаемого пана. Но в радикальных кругах о нем уже передавалось немножко из-под полы мнение, как об очень способном и энергичном революционере, который, к сожалению, только чересчур много якшается с либеральными писателями. В этот момент Венцковский был на рождественских каникулах у себя в Польше, но предоставил свое помещение в распоряжение знакомой курсистки, тоже польки, Вериги, с поручением приючать в нем в случае надобности людей, нуждающихся в квартире.

Так, по крайней мере сообщила нам Вериги, вручая нам с Попкой на несколько недель комнату с просьбой шадить скатерти и коврики и предупреждая нас, что этот адрес знает не вся студенческая публика, а лишь русские и польские радикалы. Сюда приходил к нам франтоватый чайльд-гарольдик Васюков<sup>70</sup>, который своими меланхолическими стихами, по словам Арцыбушева, «сворачивал девиц невинных умом от рождения», а нас приводил в бешенство чтением своей унылой, но злостной элегии на Казанскую демонстрацию:

Были дни у нас шумные, бурные,  
Звуки чудные всюду неслись, —  
Кольхаясь, знамена мишурные  
Над ребячьей толпою взвились!..

У нас же появлялся Вагин<sup>71</sup>, в просторечии Зеленый Змей, прозванный так за то, что неизменно держался, как сам же говорил с грустной улыбкой, «спиритуалистического направления». Способный студент-московец, пристрастившийся к водке во время мезенской ссылки, проведенной им в самых ужасных условиях, он редко бывал трезв, но всегда интересен, а доброотою своею приводил всех знавших его в умиление.

С ним у меня связано одно и тягостное, и согревающее душу, — не знаю и сам, как сказать, — воспоминание. В нашей

уютной комнате нас посетило часто случавшееся с нами теперь несчастье. Мы голодали третий день, выпили не один стакан жидкого чаю, поприели все самые залежавшиеся корки на столе и в шкафу и теперь лежали вниз животом, — Попка на кровати, я на диване, — стараясь неистовым куреньем, благо табак еще оставался, заглушить все возраставшее желание есть... Часов в семь вечера дверь отворилась, и на пороге появился Зеленый Змий. Старательно запрошенная хозяйкой Венцковской лампа ярко освещала картину нашего утонувшего в дыму молчаливого злополучия, которое было сейчас же вскрыто опытным глазом Вагина. Он сбросил с себя свою в конце растрепанную с широчайшими полями шляпу и улыбнулся своей милой, почти детской улыбкой, которая так странно расцвела на его плохо выбритом, преждевременно состарившемся лице.

— На животе лежим... Мечтаем, как бы это пицци при-  
нять... Знакомо, — он слегка вздрогнул и вдруг весело заго-  
ворил: — а знаете, милорды и джентльмены, что я вам принес?

Он достал из кармана тощего пальто и поставил на стол нераспечатанную «сотку» (в те патриархальные довиттвские времена, когда монополюшка еще не успела разрушить идиллии старинного питья, «мерзавчиками» честную христианскую посуду не называли):

— Это — для веселия!..

Он снова опустил руку в карман пальто и вытащил новый, как жар горевший пятак:

— А это для поддержания существования!..

И Зеленый Змий сейчас же предложил милордам и джентль-  
мэнам на утверждение проект использования внезапно открыв-  
шейся статьи дохода:

— Высшее собрание согласится, что, уделив из пятимил-  
лионного фонда 2 миллиона на покупку хорошей скибки черного  
хлеба, а 3 миллиона на приобретение куска студня с присово-  
куплением некоторого количества кислой капусты и одного со-  
леного огурца, оно удовлетворит неотложным потребностям  
голодающей местности...

Так Меркурий не неся в своих крылатых сандалиях по  
поручению Юпитера, как неся я в своих стоптанных ботфортах  
вдоль Большой Дворянской, напутствуемый точными инструк-  
циями товарищей, как и в каком месте лучше приобрести эле-  
менты сладостно намечавшегося лукуллова пиршества...

И вот я уже почти у дверей знакомой мелочной лавки, я  
уже ощущаю во рту кисловатый вкус хлеба и живую упругость  
студня... А тут еще капуста, тут огурец...

О, господи! чересчур размахивая от радости руками, я упу-  
стил пятак, и он юркнул возле тротуара в глубокий, только что

выпавший снег и с нескрываемым злорадством спрятался от  
меня.

У меня подкосились ноги, и я словно по инерции бросился  
на колени, разрывая огромную, рыхлую, белую пелену: я искал  
столь же быстро исчезнувшей, как и появившейся доходной  
статьи Вагина. Искал минуту, две минуты, пять, десять минут,  
но сквозь пальцы ничего не проходило, кроме бесконечной, пу-  
шистой, таявшей у меня в руках массы...

Надо мною безжалостно сиял взобравшийся после метели  
на самую кручь неба месяц. С его голубым сиянием перекре-  
щивались желтые полосы света от фонарей. А я все ползал на  
коленях, все разгребал снег и, наконец, поняв, что все поте-  
ряно — весь пятак! — заплакал слезами бешенства, горя и  
стыда...

Мне до сих пор, на расстоянии 45 лет, памятно мое воз-  
вращение во-своися и что я передумал по дороге, и что я испы-  
тал, когда сквозь сжатую спазмой глотку едва успел промолвить  
уже беспокоившимся и поджидавшим меня у приотворенной двери  
товарищам:

— Потерял!..

И бросился на постель, вызвав странным образом такой же  
жест отчаяния у Попки, который никогда не хотел делать того  
же, что я, претендуя неизменно на самостоятельную роль в на-  
шем содружестве.

Вагин зашагал по комнате:

— Неужели же из-за нескольких копеек предаваться тле-  
нию?.. Товарищи, да клянусь вам нашей дружбой, что через час  
же я принесу вам по крайней мере пятиалтынный... Всех обе-  
гаю, а уж достану... А теперь, — и Вагин, ловко отпечатав гвоз-  
дем крошечную посудину, быстро и ровно разлил водку в заре-  
нее расставленные им рюмки:

— Пьем, страдальцы, в утешенье

Добрый Ваков дар, вино! —

Процитировав по своему Шиллера, Вагин чокнулся, выпил,  
крякнул и исчез в морозной ночи «искать подкрепления досто-  
йным друзьям».

С опрятной комнатой пана Венцковского связаны у меня  
воспоминания и о некоторых наиболее примечательных сходках  
зимы 1877—1878 г., которая вся прошла у молодежи, рядом  
с реагированием на большой процесс, в жестоких теоретических  
спорах между бунтарями и лавристами, а отчасти и якобинцами<sup>72</sup>.  
Эти сходки организовались по большей части под видом именин  
и т. п. празднеств на общих студенческих квартирах, которых  
было такое изобилие на Петербургской стороне, во всем этом

клубке улиц и переулков, примыкавших с севера к Большой Дворянской и изогнувшемуся дугой Кронверкскому проспекту. А порою, когда собрание предполагалось особенно многочисленное и серьезное, «радикалы» обращались к знакомым «либералам», которые устраивали у себя для отвода глаз нечто в роде раута по всем правилам светского этикета, но — без светских знакомых.

Вспоминается одна такая большая сходка, устроенная по инициативе добродушной, но изрядно взбалмошной, zelo радикальствовавшей «генеральши» Катерины Павловны Дубровиной<sup>73</sup>, в одном из немногих поднимавшихся тогда на почти пустынном еще Каменноостровском проспекте барских особняков. Тут было вдоволь места и даже вдоволь угощения для собравшихся, которые сосредоточились главным образом в большой столовой, где за обширным круглым столом состоялся пятичасовой словесный бой между лавристами, якобинцами и бунтарями.

Открыли огонь якобинцы, то самое нелепое трио набатчиков, которое повергло в ужас и уныние «истинно якобинскую душу» Арцыбушева. Бородатый казак Болдарев зычно призвал всех революционером к временному объединению во имя свержения царского правительства и замены его якобинским путем дворцового переворота, — о чем, мол, уже сделано надлежащее распоряжение из Женевы, так что от переворота нам всем собственнно так и не отвертеться, — и потому он важно рекомендовал присутствующим заблаговременно «присоединиться», и при том с этим «поторопиться».

«Присоединилась» и «поторопилась», — немедленно же и очень шумно, — экспансивная генеральша Дубровина, которая на бонтонном русском языке и с примесью отборных французских слов «жюстис», «либертэ», «юманитэ» и т. п. высказала свой восторг от перспективы соединиться всем против «тирана». Но эти восторги были встречены холодно и даже насмешливо большинством присутствующих, а из-под самого самовара вдруг раздался язвительный голос желтолицего, желтобородого господина лет 30-ти.

— Значит, остается только всем обняться?.. В таком случае извините меня, сударыня-с, я вам, конечно, не могу запретить лобызаться с кем угодно, хоть с господином Болдаревым, но сам я, да и все мои товарищи, предпочтем решительно отвести в сторону лицо от поцелуя г. женевского исправника...

Раздался дружный молодой хохот. Борода конспиратора Болдарева разом отделилась от стола, энергично затряслась в пространстве и исчезла в виде протеста за дверь столовой,

сопровождаемая бороденкой конспиратора Бандуры и усам конспиратора Балалайки.

Хохот стал оглушительным. Кто-то юным баритоном запел:

О поле, поле, кто тебя  
Усеял мертвыми костями!..

Язвительный господин, столь легко обративший в бегство всю Женеву, победоносно обводил собрание парой своих неодинаковых глаз, — повидимому, одним вставным.

Но настоящий бой только начинался.

Присутствовавшие на собрании лавристы, и один за другим, и вперебой с бунтарями, стали развивать свою точку зрения. Гинцбург, Бубнов, Мурашкинцев, еще кто-то говорили о рабочем социализме. Они верили в окончательное пришествие социальной революции, но когда она придет, они отказывались пророчествовать. Русская община без обобществления далеко не социализм... Читайте Иванова (Глеба Успенского), что делается в русской деревне!.. Без пропаганды социализма в народе сделать ничего нельзя. Понадобятся долгие усилия интеллигенции, чтобы внести в массы сознательный социалистический идеал... Рабочие в больших центрах восприимчивее к нему уже просто потому, что живут в более культурной обстановке. С них и надо начинать, а работая среди них, должно стоять прежде всего на точке зрения их насущных злободневных требований<sup>74</sup>... Но не следует при этом искусственно разжигать их, толкать их на протесты, на стачки по пустякам... Не всякая стачка приносит пользу: неудачная только расхолаживает... Вон в Германии...

Но язвительный господин, давно уже свирепо вращавший своими непарными глазами, принялся возражать, — задорно, пространно, по-начетчицки, делая постоянные цитаты из всевозможных авторов и стараясь подействовать на слушателей обилием этих ссылок.

— Господа русские марксисты говорят нам об обобществлении. А у самого Маркса напечатано черным по белому в «Капитале», на странице... на странице 651 (язвительный господин слегка запнулся, приостановил на минуту и слегка прищурил вращавшиеся глаза и с видимым удовольствием бросил в аудиторию эту на память приведенную точную цифру)...

— В немецком оригинале это на странице 589, — насмешливо раздалось в группе «марксистов».

— Ничего, мы справимся по русскому переводу... Привилегий на разумение Маркса у вас, господа, нет... Так вот, по Марксу выходит, что на Западе обобществление произойдет в результате развития самого капитализма... Но нам-то, нам, рус-

ским, надо, значит, дожидаться этой блаженной поры? Может быть, прикажете сначала общину уничтожить, как уже во времена Чернышевского предлагали либеральные крепостники... По их стопам, значит, приглашаете пойти... Да-с?

Глаза говорившего снова сердито завертелись кругом.

— У, противный циклоп! — довольно громко и неожиданно раздалось из уст моей соседки по дивану, молоденькой и видимо горячо убежденной «марксистки».

— Кто это? — спросил я у нее.

— Это, знаете, Яценко, он же «Око», на самом деле нелегальный Каблиц... Пишет все под псевдонимом Юзова в «Неделе». Всю Публичную библиотеку на листочки повыписал... Своего ума нет, так хоть цитатами, что клюкой, подпереться.

Юная марксистка с негодованием отвернулась от оратора.

Я стал всматриваться в него. Так вот какой этот Каблиц, раньше член Киевской коммуны, а ныне видный теоретик питерских бунтарей, считавшийся среди тогдашней молодежи самым начитанным, — исключительно по русским книгам, — революционером <sup>76</sup>.

— Нет, нам не зачем бежать на Запад за обобществлением! — продолжал запальчиво оратор. — В описании общины уральских казаков Флеровск...

— На какой странице? — раздалось снова со смешком из рядов лавристов.

— В «Знании» за такой-то год, — полусвирепо, полуторжествующе, но во всяком случае нисколько не смущаясь, отчеканил Каблиц. — Флеровский <sup>76</sup> описывает в этой статье земельные порядки уральских казаков... Какого вам угодно еще обобществления? Вся область, — говорит автор, — все пастбища, вся рыбная ловля в реке Урале составляют одно общее достояние населения.

Говоривший видимо упивался своею собственной убедительностью.

— А социалистический сознательный идеал? Но разве вы не знаете, что в России по одним авторам 9 миллионов, по другим 11, а по некоторым даже 13 миллионов народу — раскольников — живут, оторвавшись от официальной церкви и представляя самую благотворную почву для социалистической пропаганды?.. Еще Липранди <sup>77</sup> в своей «Докладной записке»...

Противники раздражаются различными восклицаниями.

— Тащи чиновника в авторитеты...

— Мистики — не революционеры!

— Так все эти миллионы — социалисты?!

— Он и толстосумов с Рогожского кладбища туда же приплел!

— Батьку моего в бунтари произвел! — раздается неестественно громкий хохот, повидимому, Мурашкинцева.

Но оратор спешит взобраться на своего любимого конька, обоснование необходимости непрерывной бунтарской деятельности.

Он повертывается прямо лицом к группе возражателей, важно поднимает правую руку с разящим врагов указательным перстом и докторальным тоном, словно бы читал какое наставление, начинает свой бакунистский символ веры:

— В народе есть понимание социальной правды... А альтруистических чувств у него гораздо больше, чем у всей интеллигенции... Ему недостает только упражнения революционных инстинктов... Между тем Спенсер во втором томе своих «Оснований Психологии», на стр. 119, говорит: «Как мускул укрепляется путем поднятия тяжестей, так и чувства мужества и независимости усиливаются при посредстве упражнения»... Бэн доказывает в своей книге об «Уме и Чувствах», — цитируемое мною место находится в самом же начале главы III-ей, — что то, что стоило сначала больших сознательных усилий, превращается потом в легкое, почти инстинктивное действие. А Карпентер на стр. 97-й своей «Физиологии ума» прямо утверждает, что, отказываясь от деятельного упражнения...

Аудиторию начинает расхолаживать это методическое перечисление всевозможных авторов и различных мест, где только говорится о значении упражнения, и Каблиц кончает среди нетерпеливых восклицаний противников, которые высылают по соглашению между собою одного из наиболее авторитетных своих ораторов, Гинцбурга или Бубнова.

— Вспышкопускательство!.. Вещь известная!.. Мы с ним боремся... Но мы могли бы все же понять его, если бы оно исходило здесь от чистого сердца, от того чувства, о котором столько нацитировал нам усердный чтец иностранных книг в русском переводе.

Кой-кто улыбнулся. «Циклоп» сверкнул более ярким глазом и попробовал парировать удар:

— Чем богат, тем и рад! И впредь к вашим услугам!..

Лаврист поднимал тон:

— Но что было здесь? Авторы, книги, цитаты, цитаты на память, да какие точные: 157 страница с половиною, строка 14 снизу, примечание с двумя звездочками...

— Точность не мешает: значит, не лжешь! — снова сверкнуло «Око».

Но Лаврист принимается за Каблица вплотную при растущем сочувствии части слушателей.

— И для чего же все это? Для того, чтобы доказать необходимость идти в народ и поджигать его, когда, может быть, он совсем не готов и совершенно дезорганизован, когда ему грозит неминуемое поражение, когда во всякой деревне, на каждом заводе устроят экзекуцию, когда столько детей поплотятся разорением, пока кормильца будут гноить в тюрьме или гнать по Владимирке, если еще шальная солдатская пуля не скосит его тут же при начале бунта?.. А наш учитель бунтарства будет в это же самое время сидеть в Публичной библиотеке и вылавливать из разных книг всяческие цитаты, чтобы как-нибудь приладить их к своей бунтовской идейке да напечатать в гайдебуровской «Неделе»... «Упражний мускул», «упражний бунтовское чувство» и — делай революцию?.. Что же это, гимнастический манеж, что ли, для революционных упражнений полагается?.. Цирк?.. И, может быть, даже именно римский цирк с гладиаторами и восседающими для зрелища в ложах бунтовскими патрициями и сенаторами?..<sup>78</sup>

Тут в свою очередь бунтари подняли страшный шум в аудитории, и за поздним временем решено было отложить неопределенно кончавшиеся прения на несколько дней. Следующее собрание происходило уже совсем в другой обстановке, на Карповке, в четырех смежных комнатах, составлявших помещение одного землячества. Народу, в виду возбужденного прошлыми прениями интереса, набралось видимо-невидимо для сравнительно небольшой квартиры. Ораторам приходилось говорить порою из комнаты в комнату. Говорившего большинству публики слышно было только из-за стены, сквозь открытые двери. И тем не менее оживление было чрезвычайное. Аудиторию составляли на сей раз почти исключительно члены активных студенческих организаций, представители от рабочих групп и несколько легальных и нелегальных крупных революционеров.

Пользуясь не очень неблагоприятным результатом прошлого столкновения с почитавшимся тогда за грозного оппонента Каблицем, лавристы заранее приготовились защищать занятые ими позиции. С самого же начала Семеновский и Бубнов предлагают собранию предварительно составленную их группой резолюцию, указывающую на главные теоретические и практические пункты их мировоззрения: рабочий социализм, усиленную социалистическую пропаганду в массах, преимущественно в городах, очень осторожную агитацию среди рабочих на почве их непосредственных требований, решительный отказ от всяких преждевременных «демонстраций» (тогда слово «выступление» не было еще очень употребительно) среди студенчества и рабочих...

Прения пошли по руслу этого проекта резолюции и почти сразу же приняли для лавристов благоприятный оборот. Хорошо спевшиеся защитники «марксизма» один за другим развивали то то, то другое положение своей программы. Возражения народников были более горячи, чем основательны. Кроме того, сегодня с этой стороны не было до сих пор ни одного выдающегося оратора. К середине вечера все яснее стала вырисовываться победа программы умеренного, очень мирного, чисто пропагандистского социализма лавристов.

— Мы не менее вашего революционеры. Но революция вырастает естественно из всей совокупности социальных условий, а мы можем лишь подготавливать сознательных участников в ней, сопротивляясь всяким попыткам бунта, восстания, мятежа... Восстание не революция, а только тормозит революцию. Неудавшийся мятеж, — а мятеж не может удался, должен не удался, — отбрасывает движение на целые годы, на десятки лет назад. Преждевременный бунт — преступление перед социализмом и перед народом... Кровь погибших борцов, страдания побежденных масс, продолжительное торжество реакции — все это должно лечь на совесть тех, кто все время толкает людей на «постоянную революцию», как выражается ваш Бакунин...

В первой комнате, где дружная группа марксистов, сидя и стоя у большого стола, выходила победительницей из прений, уже не находилось больше возражавших. Еще несколько минут — и торжество лавристов будет несомненно. Смущенные, раздосадованные бунтари перешептывались между собою и все поглядывали во вторую комнату, где вдруг раздался возбужденные, нетерпеливые голоса: «Жорж! Жоржик! Оратор! — Поздно! опоздал! — Как опоздал! Говори, Жорж!»

Из двери второй комнаты вышел, энергично раздвигая слушателей и пробираясь к столу лавристов, молодой статный человек, с умными, темными глазами, длинными, зачесанными назад густыми космами темных же волос и короткой черноватой, слегка отливающей в рыжий цвет бородкой.

— Прошу собрание извинить меня, но я не мог раньше прийти... Я только-что явился сюда по черному ходу с одной сходки, где я как раз занимался тем, в чем сторонники мирного прогресса упрекают нас, бунтарей: толканьем на «постоянную революцию». Проще говоря, я советовал представителям студенчества организовать к произнесению приговора по процессу 193 повсюду демонстрации в высших школах и, если можно, сговориться и с нашими рабочими группами...

Теперь новый оратор вышел совсем на середину комнаты и смотрел в упор на стол победителей. Он был одет в длинный,



очень легкий, пестрый балахон, полы которого развевались при каждом его резком движении.

Сжав слегка горсточкой обе руки и крепко ударяя верхушкой одной в ладонь другой, — он с этим жестом так и остался во все время своей короткой, но энергичной речи, — молодой человек в балахоне заговорил плавным, чистым, временами очень ироническим голосом:

— Я как раз пришел в то время, когда один из ваших ораторов чувствительно распространялся на тему, что он тоже, видите ли, революционер, но отнюдь не бунтарь, что он, конечно, всей душой за добрую, хорошую, благодетельную революцию, но всем умом и сердцем против дурного, гадкого, пагубного бунта<sup>79</sup>... Я оценил его благородство чувств, но не мог последовать его приглашению возлюбить добродетель в лице революции и возненавидеть порок во образе бунта. Не мог потому, что мною овладело сомнение: имеется ли у оратора такое бюро изобретений, где начавшееся движение может получить патент на правильную фабрикацию революции? Дайте мне такой патент, и я с вами! Но можете ли вы заранее, при самом начале движения, сказать, что это вот революция, а то вот бунт?... А что если вдруг мы начнем делать скверный бунт, а из него станет выходить хорошая революция? Что же, без вашего патента мы не имеем права участвовать в стихийно разросшемся движении? Должны отказаться от всякого участия?.. Может быть, даже стать на сторону правительства и бороться с движением?.. А то вдруг, неровен час, из бунта вырастет беспатентная революция?.. А ведь это, создатель мой, как страшно...

В аудитории чувствовался перелом настроения. Почти каждая фраза говорившего вызывала сочувственный смех бунтарей и прерывающие восклицания лавристов. Шум усиливался. Настроение поднималось с той и с другой стороны.

— Это софизм, — раздается из-за стола марксистов. — Когда разразится настоящая революция, никто не будет спрашивать, революция ли это, или нет...

— Извините, господа мирные революционеры! Это не так-то легко узнать по началу... С какого часа взятие Бастилии превратилось в Великую французскую революцию? На какой день трехдневное июльское восстание 1830 г. перестало быть восстанием и стало революцией, достойной упоминания в истории? А революция 1848 г.? Может быть, по вашему мнению, нужно было бы и тогда остаться при либеральных банкетах, а не толкать рабочих на улицу?.. Да либеральная буржуазия так и хотела сделать... Буржуазный либерализм и теперь говорит вашими устами<sup>80</sup>...

Половина аудитории рукоплещет оратору. Другая половина прерывает его речь протестующими возгласами. Среди марксистов раздаются:

— Опять софизм... Мы не буржуа, а социалисты... Мы сейчас ответим вам...

Снова балахон развевается по сторонам. Снова одна сжатая рука бьет по другой.

— Вы — социалисты? Не знаю, может быть. Но христианские богословы-то вы уж во всяком случае. Те тоже верят в непорочное зачатие и бескровное рождение... Мы, революционеры, не верим в него, как не верим в мирный прогресс человечества, как не верим в революцию с дозволения начальства. Все великие исторические приобретения человечества брались им только с бою, добывались только кровью... А в вас, претендующих на ученость, нет ни малейшего понимания истории и никакого революционного чутья... Оттого молодежь и оставляет вас, как оставил вас даже ваш старый учитель... Вы — общество взаимного обожания и больше ничего... Оставайтесь при своем патенте на одобренную вами же мифическую бескровную революцию!<sup>81</sup>

Оратор с пылающим лицом, с горящими глазами кончает речь и отходит к стенке, скреживая руки на груди в ожидании ответа. К нему быстро подходит один из студентов, хозяев квартиры, и шепчет что-то на ухо. Оратор отрицательно качает головой. Все настораживаются.

— Товарищи, — слышится тихий, но явственный голос студента. — Свой человек предупредил нас из участка, что полиция предполагает заявиться к нам сейчас же сюда, так как не очень-то верит в наши именины... Не мешало бы убрать всех нелегальных...

Кой-кто поднимается и уходит... Говорившего последним уводят почти силою по черной лестнице.

— Жоржа ты моя, Жоржа милая! — проникновенно и даже слегка заунывно восклицает при общем хохоте собрания здоровенный рябой рабочий, который уходит вслед за оратором, «чтобы в случае чего», — и он показывает при новом взрыве хохота свой основательный кулак.

То ткач Петр, который, как нянька, ходит всюду за владельцем пестрого балахона и всячески старается оберегать — Плеханова!

То был, действительно, Плеханов<sup>82</sup>. Я видел его здесь впервые, но сейчас же узнал по обращенным к нему названиям «Жорж», «Жоржик», «оратор», под которыми он был очень популярен в это время в студенческой и рабочей среде, ловко

ускользая от преследований полиции со времени своей речи у Казанского собора.

Но Семеновский и Бубнов все же не хотят оставить безрезультатно собрание и обращаются к аудитории с письменным искусно составленным во время самих прений заявлением, из которого явствует, что русские марксисты в принципе и не думают отказываться от революции, но считают прежде всего необходимым изучать окружающие реальные условия и «насыщать идеями рабочего социализма» те элементы, которые наиболее способны к его восприятию, решительно восставая против всякой чисто агитационной, бунтовской работы...

Я ушел и с этого собрания более, чем когда-либо, раздраемый сомнениями и нерешительностью. Вообще лавристы лучше соответствовали моему тогдашнему мировоззрению. Но их чересчур мирная тактика шла вразрез со все более и более боевым настроением, овладевшим тогда русского молодежью и отчасти заражавшим, хотя и в смягченной форме, даже русское общество.

Это сказывалось явственно на отношении интеллигентного Петербурга к большому процессу и особенно ярко прокинулось при покушении Веры Засулич на Трепова. В течение трех-четырех месяцев, что разыгрывалась судебная комедия над так называемыми «ста девяноста тремя», фактически оставшимися лишь на почве проповеди апостолами социалистического благовестия, симпатии к ним росли повсюду. Нечего уже говорить о молодежи: для нее судившиеся были образцом величайших гражданских добродетелей. Но и так называемое общество с каждым днем процесса проникалось к ним все большим и большим сочувствием. Не забудьте, что немалая часть подсудимых жила в Петербурге на поруках у своих же адвокатов или у литераторов (напр. будущий катковец Говоруха-Отрок<sup>83</sup> и Михайловского), высших чиновников, в либеральных, порою аристократических семьях, и успела возбудить у своих хозяев чувства искренней симпатии.

С другой стороны превосходный отчет, издававшийся нелегально революционерами, имел огромное воспитующее и агитационное значение. Такие речи, как Мышкина<sup>84</sup>, нравственно опиравшиеся на столь бесстрашное поведение, которое обнаруживал перед судьями хотя бы тот же Мышкин, поражали даже самого тупочувственного обывателя удивительною душевною красотой. Судившиеся по большому процессу становились любимцами, баловнями общества. В двух-трех общежитиях, в доме Фредерикса, возле Николаевского вокзала, в доме Сивкова, еще в одном большом общежитии вблизи Технологического института, где на

последние недели процесса были поселены легко скомпрометированные подсудимые, визиты не переводились с утра до вечера. Людям, которые из-за ничтожной брошюрки сидели по три, по четыре года и теперь были накануне оправдания, посетители не знали, чем только выказать свое расположение. А те из подсудимых, которые жили одно время у поручителей, стали в роде любимейших членов семьи. Никогда еще правительство, администрация, юстиция не подвергались такому осуждению среди общества. Не только либералы, но честные консерваторы старались всячески бойкотировать сенаторов-судей и специальных судебных следователей по процессу (тогда не было еще слова «бойкот», но самая вещь — нравственное отлучение виновных от общения с порядочными людьми — проводилась так далеко, что даже семьи бойкотируемых высокопоставленных лиц горько жаловались на свое одиночество).

Революционное чувство в молодежи и фрондирующее настроение в обществе вспыхнули ярким пламенем, когда в одно серое, холодное январское утро в столице разнеслась весть, что социалистка Вера Засулич стреляла во всемогущего петербургского сатрапа, градоначальника Трепова, и тяжела ранила его. Ликование было всеобщее. Надо было жить в эти минуты в Петербурге, чтобы видеть, как был популярен этот выстрел. О революционной молодежи много говорить само собою не приходится, хотя именно она была еще столь одиноко в то время проникнута убеждением, что социализм борется не с лицами, а с учреждениями. И ей была еще в общем чужда та точка зрения, на которой считал возможным стоять такой благородный мыслитель, как Джон Стюарт Милль, говоря, что является еще серьезнейшим вопросом морали вопрос о том, не представляет ли собою акта величайшей добродетели поступок гражданина, который убивает человека, поставившего себя выше закона и права. Во всяком случае покушение Веры Засулич было воспринято революционерами с чувством внутреннего удовлетворения и в немалой степени способствовало общему перелому настроения в смысле обращения к политическому террору.

Но этот выстрел в Трепова нашел сочувствие в широких и самых неожиданных кругах. Временщика столь же повсюду ненавидели, сколько и боялись. Факт знаменательный: даже пристава, околоточные, городовые, дворники, которым всем насолил петербургский Гарун-Аль-Рашид, промеч себя не стеснясь говорили, что и на таких самодуров находится узда. Приехавшие в 1878 г. на масляной финские «вейки», когда их очень притесняла полиция, грозилась сплошь и рядом наслать на нее «самого Сасулиса с пуской».

Либеральные господа и особенно либеральные дамы из общества были в полном восторге от выстрела. В этих кругах любили даже по этому поводу пококетничать знанием Великой французской революции и провести некоторые параллели между Шарлоттой Кордэ и нашей Верой Засулич: Шарлотта Кордэ, убив Марата, бросает свой нож на пол и спокойно отдается в руки правосудия; Вера Засулич, выстрелив в Трепова, выпускает из рук револьвер и без сопротивления дает себя арестовать<sup>85</sup>.

Не удался администрации и ее прием дискредитировать в ожидании процесса подсудимую. Из Москвы Катковым был подан знак, подхваченный кое-какими жалкими петербургскими газетками, представить акт Засулич как дело рук истеричной и порочной женщины, которая мстила за неинтересного арестанта, находившегося с нею, в числе многих политических преступников, в близких отношениях. Даже в этой клеветнической версии поступок бесстрашной девушки нравился чувствительным душам из категории обывателей-романтиков.

Что касается большой петербургской печати, то «Голос» и даже «Новое Время», после нескольких дней колебания, все время до процесса и первое время после суда, пока цензурным ведомством не было совсем запрещено говорить о деле, вели себя очень прилично, во всяком случае гораздо приличнее, чем то было в других соответствующих случаях. На следующий же день после полного оправдания Засулич присяжными, — эта весть, необыкновенно быстро разнесшаяся по городу, показалась, кстати сказать, петербуржцам столь невероятной, что некоторые сочли ее за первоапрельскую шутку, — орган Краевского поднялся сторяча до таких высот гражданского пафоса, что избразил свое настроение на суде словами: «Судили не эту героиню, судили весь наш строй произвола и неправды, и вместе с ним судили всех нас, тех ленивых и нерадивых граждан, которые недостаточно сопротивлялись водворению этого строя». На второй день хамелеонствующий Краевский поторопился отдать редакции приказ ослабить либеральную ноту, и «Голос» стал бормотать что-то не особенно вразумительное. Но было уже поздно — впечатление было произведено, — как было поздно полиции стараться захватить на улице Веру Засулич, выпущенную из здания суда по распоряжению председателя. Революционные, главным образом бунтарские, организации так мастерски маневрировали вокруг кареты, куда ими была посажена оправданная, что жандармы никак не могли задержать ее, и ходили слухи, что это именно они с досады убили молодого Сидорацкого<sup>86</sup>, который упал в толпе с простреленною грудью.

С 1878 г. кривая террористических актов сразу прыгнула вверх, и выстрел Засулич оказал здесь заметное действие. Покушения пошли не только по всей России, — убийства шпионов в Москве, Ростове-на-Дону, покушение на убийство товарища прокурора Котляревского, убийство жандармского полковника Гейкинга в Киеве, убийство третьестепенного генерала Мезенцева среди бела дня на одной из центральных улиц Петербурга, — но и за границей: весной и ранним летом Гедель и Нобилинг покушались на Вильгельма I, осенью Пассананте на итальянского короля Гумберта. Мне лично бросилось в глаза это быстро крепнущее боевое настроение молодежи, после того как я просидел лето в Доме предварительного заключения, куда меня привело в гораздо большей степени комическое, чем трагическое происшествие, о котором я сейчас расскажу.

Когда после выстрела Засулич полиция принялась, как бывает всегда в таких случаях, «подтягиваться», паспортные строгости очень усилились, и нам с Попкою надо было так или иначе найти понадежнее квартиру. Попка поселился без прописки у одного из своих либеральных состоятельных друзей... Я все под тем же фальшивым видом Богословского нанял крошечную комнатку у одного из обер-кондукторов Николаевской железной дороги, почти у самого вокзала. Нам приходилось расстаться...

Печально я сидел в своей каморке и делал питания ради грошевые переводы для какой-то международной аптеки, пускавшей рекламы на немецком языке о новом сорте «магически блестящей» свечи Шандора, а на французском — о столь могущественном средстве для рощения волос, что клиенты любезно предупреждались аккуратнее братья за мазь, а то... густая шерсть могла вырасти на самых неподходящих частях тела, напр., на ладони. Ни первые лучи весеннего солнца, робко пытавшиеся заглянуть в мое низкое окошко путем отражения от больших стекол противоположного дома, ни коммерческая зазывная юмористика не могли рассеять того холода и мрака, которые царили в моей душе, обуреваемой сомнениями и сознающей мизерность результатов, полученных мною в смысле умственного и нравственного удовлетворения после 9 месяцев жизни, проведенных в столь, казалось бы, чудесной резиденции мысли и революции, как Петербург...

«Вход через хозяйку» открылся, и на пороге появились Попка и один из его южных приятелей Л., которого я имел случай видеть уже несколько раз. Л. был красивый 25-летний молодой человек, с кудрявой головой и волнистой пепельной бородкой, жертва российской обрусительной политики на Украи-

не. За украинофильство он был исключен несколько лет тому назад из высшего класса Черниговской гимназии, привлекался даже к ответственности в качестве драгомановца, сидел некоторое время в тюрьме, но вскоре был выпущен, работал одно время под руководством известного местного статистика Червинского, а ныне готовился к поступлению на юридический факультет университета. Мне очень нравился мягкий, деликатный, всегда услужливый, начитанный Л., и я лишь спрашивал внутренне себя, что привело его ко мне.

Сам Л., видимо, как будто стеснялся, но Попка без всяких околичностей принялся разъяснять мне дело. Л. по семейным обстоятельствам нужно было во что бы то ни стало поступить осенью 1878 г. в университет, а для этого требовался аттестат зрелости. Выдержать это испытание экстерном не представляло бы большой трудности для образованного и уже великовозрастного молодого человека, не будь проклятого греческого языка, который в его бытность в гимназии совсем не проходил в высших классах. Л. бросился по своим влиятельным петербургским знакомым, и один из них, украинец и сам педагог, конфиденциально посоветовал ему найти подходящего заместителя для испытания на аттестат зрелости. По-гречески он, мол, и в год не подготовится, а именно теперь, в эти переходные времена, когда классицизм еще не совсем внедрился в среднюю школу, часто приходится прибегать к чужой помощи... Словом, не соглашусь ли я держать выпускной гимназический экзамен за Л.?

Попка взывал к моим товарищеским чувствам. Сам Л., как всегда, ласково смотрел на меня, а на сей раз еще неоднократно жал мне руку. Им не пришлось особенно долго уговаривать меня. Мне не только захотелось помочь в немалой мере своему человеку: мною овладело немножко мальчишеское, задорное желание наклеить нос официальному толстовскому классицизму, который я, хоть сам и не плохой — по гимназическим понятиям, — классик, ненавидел однако всеми силами воспринятого от Писарева отрицания. Через полчаса мы уже условливались о подробностях выполнения нашего плана.

Обрадованный Л. обещал поставить меня, а попутно и Попку, в удобные условия жизни на те несколько недель, в течение которых я должен был держать выпускной экзамен. Он прежде всего предлагал нам перейти в одну из больших меблированных комнат уже известного читателю дома Яковлева, где у Л. было немало знакомств в наиболее приличной части этой каменной громады и где через знакомую коридорную он мог устроить нам и полный пансион: знай сиди и занимайся!

Так как экзамены начинались через какой-нибудь месяц-

полтора, то новую квартирную, а вместе с тем и паспортную комбинацию надо было осуществить по возможности немедленно. Начиналось переселение народов и паспортов. Я в качестве Богословского выписывался со своей прежней квартиры в дом Яковлева, но по виду Богословского должен был там жить выплывавший из туманов непрописного жителя-бытья Богданович, я же предъявлял на новом помещении паспорт Л., тогда как подлинный Л. временно удалялся из Питера. Наконец, я и Богданович брали с собою и оставшееся у нас еще от Рождества студенческое свидетельство Русанова не с тем, чтобы прописывать его, — знакомые моего отца продолжали искать меня в столице через адресный стол, и потому пускать в ход мой подлинный паспорт мы еще не могли, — но чтобы на всякий случай иметь при себе хороший вид: мало ли на что может понадобиться такая бумага нелегальному человеку!

Сначала все пошло как по маслу. Л., то-есть я, Русанов, —

Ведь Селестэн-то Флоридор,

А Флоридор-то Селестэн, —

переселившись в дом Яковлева, подал прошение в округ о разрешении держать ему экстерном экзамен на аттестат зрелости при одной из столичных гимназий, и начальство указало ему с этой целью Третью гимназию, которую предусмотрительное провидение (как увидим ниже) поместило на Гагаринском, то-есть совсем близко от тогдашнего Третьего отделения «у Цепного Моста». Богданович-Богословский селится со мной вместе, сказав, что занимается перепиской у одного адвоката. На его опытность по части грима рассчитывал Л., чтобы придать мне, 18-летнему, почти безусому и совсем безбородому, при том очень тощему юнцу, вид 25-летнего молодого уже побывавшего в разных передрягах человека. Но как усердно ни скреб меня бритвой в течение двух недель перед экзаменом Попка, все же до бороды на моем лице мы с ним так и не могли доскрестись. Решено было взять серьезностью выражения, достоинством манер и приличной деловитостью костюма. Л. достал очень хорошую темную пару, к сожалению оказавшуюся чересчур обширной для моего щуплого тела. Приходилось надевать на себя по крайней мере две фланелевые рубашки, чтобы сюртук не очень сумил, а чересчур длинные брюки несколько раз завертывались даже в самую сухую погоду, что, впрочем, могло быть объяснено моею крайнею аккуратностью и бережливостью...

Не без волнения после обычного визита гимназическим властям пошел я на Гагаринскую, чтобы держать экзамен экстерном в заведении, где директором был комичный седовласый, сухенький немец Лемониус, а инспектором ражий, косматый рос-

сиянин Мохначев: я боялся гораздо меньше самого испытания, чем своего убийственного отроческого вида, который мог внушить всяческие подозрения. По счастью, я сразу понравился обоим столпам Третьей гимназии. На сей раз я держал экзамен не только не хуже, но еще удачнее, чем за самого себя в истекшем году в провинции. Всех нас экзаменовалось человек двадцать пять, из них несколько экстернов. Но почти с первых же письменных испытаний классик Лемониус взял меня под свое особое покровительство за мои успехи в греческом и латинском, а словесник Мохначев поставил в пример прочим мое сочинение на тему о литературе века просвещения, где я ввернул, не перезвав, несколько французских фраз из случайно прочитанной мною незадолго перед тем «Исторической картины» Кондорсе. Остальные преподаватели были тоже в общем довольны оказательствами моей зрелости. Мне оставалось лишь несколько устных экзаменов по второстепенным предметам, всего недели на две. Попка сиял и даже в неуравновешенном состоянии не бранил уже меня больше ни «софистом», ни «гегельянцем». Сиял и Л., появлявшийся от времени до времени в Питере, чтобы справляться о ходе экзаменов, и обещавший мне достать хорошее место у своих знакомых в качестве репетитора. Я продолжал ходить на Гагаринскую.

Но, увы!

Часто злобный ков таится  
За домашним алтарем.

Нелегальные друзья Попки попросили его принять третьим жильцом в нашу просторную комнату некоего Емельянова<sup>87</sup> (кажется Николая), по прозвищу «зверюшку», впоследствии ставшего одним из самых неистовых публицистов-охранителей на столбах «Московских Ведомостей», а в эпоху, о которой идет речь, с гордостью называвшего себя одновременно бунтарем, якобинцем — и анархистом!.. Он был «блудным сыном» высокопоставленного морского чиновника в Николаеве и сгорал желанием прославиться хоть чем-нибудь. Здоровенный, лохматый, смахивавший на медвежонка, он, несмотря на свои неполные 17 лет и нелепые капризы романтического воображения, считался у южных бунтарей хорошим товарищем и надежным конспиратором. Один из одесских кружков этого направления послал его в Питер с довольно деликатным поручением: принять на себя авторство этюда о южнорусской штунде, который был составлен на основании личных наблюдений одним из сидевших в тюрьме нелегальных революционеров, кажется, Ковальским<sup>88</sup>. и должен был появиться в «Отечественных Записках». Для сно-

шения с редакцией и для осуществления различных авторских прав и обязанностей и был выбран Емельянов, который эту часть конспирации выполнял с большою охотой и крайне таинственно, при уходе завертываясь покартиннее в свой плед и многозначительно произнося в двери:

— На Бассейную... В «Отечественные»... Насчет своей статьи, знаете...

За эту таинственность Емельянов вознаграждал себя необыкновенной экспансивностью в письмах, которые он посылал в несметном количестве всюду и всем, даже плохо знавшим его людям, требуя от них немедленного ответа. Немудрено, что редкий день этот неутомимый корреспондент не получал одного-двух писем, и детски радовался, когда их приходило к нему полдюжины. В этих посланиях такие же по большей части, как он сам, Емельяновы сообщали ему то с «химией», то без всякой «химии», но в прозрачно грозных выражениях о должествующих произойти тогда-то или тогда-то революционных событиях. Наш сожитель считал нужным сообщать нам о наиболее сенсационных из таких вестей...

Уже через неделю Богданович возненавидел его и все время жаловался на судьбу, связавшую нас с этим яростным многописцем:

— Нет, к этому косматому чорту, действительно, каждое утро сорок тысяч курьеров — по почте — отовсюду скачут... Влопает он нас, — помяни ты мое слово... Хоть бы экзамены твои поскорее кончались: сейчас бы махнули отсюда... Знаешь, если заявится жандармерия сюда, то ты, конечно, Л., но я не Богословский, а Русанов.

— Но ведь Русанов не прописан, а Богословский значится проживающим здесь.

— Ну, брат, в нашем доме Яковлева какая полиция утоняется за пропиской: та же Вяземская лавра, только почище, да с жульем и честные люди живут, вот как мы... Скажем, что Богословский уехал, а Русанов только что прибыл... Все же за Русановым ничего не числится, а возьмутся за Богословского, мигом узнают, что сей скромный молодой человек духовного сословия явился сразу на свет божий 20 лет от роду и всего шесть месяцев тому назад...

Очаровательная белая ночь держала Питер в своих объятиях, когда возле нашего номера раздался столь знакомый всем звон шпор.

— Здесь Николай Емельянов?.. По предписанию... для производства обыска... Вставайте!.. — слышу сквозь сон все более и более ясно.

Открываю глаза и вижу всю нашу комнату заполненной жандармами, полицейскими, какими-то штатскими. Этот господин с бакенбардами словно из черного дерева — вероятно член прокурорского надзора. А вот и наш швейцар, вот и наша коридорная... Лавочник с угла, дворник соседнего дома, — должно быть понятые.

Емельянов, раздетый, но в величественной позе, с вытянутой правой рукой, принимает гостей.

— Это вот все мои вещи... Емельянов... Я... я... Емельянов... Прошу обыскать... Товарищи не при чем... Совершенно не при чем... Я беру на себя ответственность за все... Корректурная моя статья из «Отечественных Записок»... Прокламация группы южно-русских якобинцев... План Севастопольского порта... Свидетельство юнги... Я-с, я-с плавал юнгой... По распоряжению родителя... Входная карточка в Публичную библиотеку на мое имя... Занятия по расколу... Палка с свинцовым набалдашником... Знаете, выхожу по ночам. Нельзя-с!..

Господин с бакенбардами из черного дерева с легкой иронией слушает объяснения «зверюшки». Усатый жандармский поручик (Соколов) деловито распоряжается обыском. Коридорная наша стоит у притолки, в классической русской позе, соблазненно подперев щеку закопченной от вечного ставления самоваров рукой.

— А этот господин кто? — спрашивают бакенбарды у Емельянова, показывая на меня, уже встающего и наскоро набрасывающего на себя пальто.

Емельянов — на сей раз очень благообразно — умолкает в ожидании моего ответа.

— Л., держу экстерном при Третьей гимназии, — отвечаю не колеблясь я.

— А вот эта... необыкновенно крепко спящая особа? — обращается ко мне, желчно улыбаясь, член прокурорского надзора и показывает пальцем на Богдановича, над которым уже минуты две трудятся жандармы, но все не могут никак разбудить...

Я чувствую, что ловкий Попка притворился непробудно спящим и прислушивается к тому, что говорят вокруг него.

— Это мой приятель, студент Русанов, — отвечаю я.

— Что это он всегда у вас так крепко спит?.. Знаете, неудобно, на случай пожара... не всегда будут при этом жандармы, чтобы вынести... Оставить здесь двух солдат, пока господин не соберется с чувствами и не чихнет себе на здоровье! — пробуют рассмешить бакенбарды.

Но Попка лежит неподвижно и начинает даже слегка похрапывать.

— Ну, а вы, господа бдящие, пожалуйста с нами!

У подъезда нас ждут три кареты. В одну садится поручик Соколов со мной, в другую прокурор, в третью другой жандармский офицер и Емельянов... Его я уже больше не видел в течение всей жизни, а лишь читал двадцать пять лет спустя в осиротевшем органе Каткова.

Через полчаса поручик Соколов вводит меня в столь интриговавшее меня еще по рассказам Третье отделение на Пантелеймоновской и сдает на руки для дознания майору Оноприенко.

Меня ужасно смущает судьба Л. и Богдановича, и я со всем лукавством, к которому только способен 18-летний совершенно неопытный и мало еще лгавший на своем коротком веку юноша, стараюсь заинтересовать в своей участи вопрошателя.

— Если моя просьба, господин майор, может иметь для вас хоть какое-нибудь значение, я умоляю бы вас не губить моей будущности и поскорее отпустить меня... У меня как раз сегодня устный экзамен из географии в Третьей гимназии, вот совсем недалеко от вас, и я бы просил у вас разрешения пойти на него.

Хитрый хохол, разглаживая свои рыжие бакенбарды, любезно соглашается и просит лишь в свою очередь откровенно дать ему письменные ответы на некоторые вопросы. Из этих вопросов я сейчас же заключаю, что в жандармской экспедиции на Садовую Богданович и я собственно не при чем, а пойманы случайно той же сетью, что была расставлена на Емельянова, в котором, как я замечаю не без внутренней улыбки, ловцы человек видят пока важного революционера. Поэтому показания свои я пишу очень спокойно и уверенно и только смущаюсь несколько в одном месте, когда мне приходится упомянуть, что я, Л., уже привлекался к дознанию и следствию и сидел в тюрьме, но дело было прекращено: я боюсь, как бы не написать чего-нибудь неподходящего об этом мало знакомом мне эпизоде из жизни моего двойника.

Оноприенко относит, повидимому, это временное замешательство на счет моего нежелания вспомнить о компрометирующем маленьком прошлом и, вероятно, вспомнив, что еще Николай Павлович подал шефу жандармов платок с предписанием отирать слезы невинных, принимается рыцарски великодушно:

— Не в видах высшего правительства возвращаться к прегрешениям вашей юности, раз оно видит, что вы искренно намерены отказаться от всяких вредных мыслей и заняться законным устройством вашей личной карьеры... Продолжайте, г. Л., держать ваш экзамен!.. Желая вам всякого успеха и даю

вам честное слово офицера, что в гимназии даже не будут и подозревать той крошечной неприятности, которую мы невольно причинили вам сегодняшним визитом, не вам и предназначавшимся... Я принужден только отдать приказ сфотографировать вас, взять с вас подписку о невыезде из Петербурга и просить вас являться к нам в Третье отделение, как только вы будете получать от нас повестку... Еще раз желаю вам успеха!

С выдержанного мною час спустя экзамена по географии я направился в дом Яковлева, где нашел возвратившегося благополучно во-свои на таких же условиях Богдановича и Л., предупрежденного общими друзьями о неприятном происшествии. Решено было, чтобы я, как ни в чем не бывало, продолжал свои экзамены, тогда как сильно скомпрометированному нелегальному Попке приходилось, как ни усложняло это нашей истории с Л., поскорее скрыться.

Через три дня вызвавший меня к себе Оноприенко принял меня очень сухо и заявил, что его офицерское слово остается пока в силе, но так как он доподлинно знает, что Русанов исчез неизвестно куда, то он принужден принять меры к пресечению и моего бегства.

— Отныне вы будете находиться под замком у нас в Третьем отделении и выпускаться лишь на часы экзамена в гимназию под надзором, который не будет заметным ни для кого со стороны, но — будьте уверены! — сделает бесплодной всякую попытку с вашей стороны не вернуться под наш гостеприимный кров, — саркастически обрисовал Оноприенко свой новый план действий по отношению ко мне. Вините во всем не деликатность вашего легкомысленного или, может быть, имеющего не совсем чистую совесть друга Русанова!..

Таким образом дней десять, вплоть до окончания экзамена, я всякий раз, когда то было надобно, ходил из Третьего отделения в Третью гимназию (забавная кабалистика чисел!), сопровождаемый в деликатном отдалении двумя жандармами, которые шли по другой стороне Гагаринской, как будто совершенно независимо, и терпеливо прохаживались напротив гимназии, пока я снова не возвращался в гнездо синих орлов. Обращались со мной мои хозяева очень вежливо, кормили меня хорошо, хотя не давали ножей и вилок, поднося все в разрезанном виде, и я уже начинал надеяться, что дело окончательно выгорит...

Ярким июньским утром пришел я, наконец, последний раз в гимназию, чтобы получить обещанный каждому из выдержавших на этот день аттестат зрелости. Увы! здесь меня ждало полное разочарование.

— А, это вы, г. Л., — шумно встретил меня ражий инспектор, — да знаете, аттестат у вас хоть куда, давно таких мы экстернам не писали, да вот беда: приказано не давать вам его на руки, а задержать и отправить в Третье отделение!.. Во всяком случае, поздравляю вас с добытой у нас зрелостью!.. Будьте здоровы-с!..

Мохначев не без лукавства рассмеялся и отвесил мне на прощанье забавный увесистый поклон.

Светлое июньское утро смотрело на меня теперь сентябрем. С тяжелым сердцем возвращался я в комнату, где жандармы две недели подряд «оттирали мне слезы» синим платком своего филантропического ведомства.

— Поздравляю со вторичным окончанием гимназического курса, г. Русанов! — раздался вдруг необыкновенно веселый голос майора Оноприенки, который увидел меня, когда я проходил по коридору перед дверью его кабинета, и ласково помахивал рукой к себе. — Что значит, родительское-то сердце: чужая мамаша на карточке не признала, а свой папаша так прямо заплакался... То-то, знаете, мне с самого начала подозрителен показался этот двадцатипятилетний экстерн, без малейших признаков растительности... Я на второй же день нашего приятного знакомства с вами разослал ваши карточки по родителям... Да-с, по родителям-с... Это азбука ремесла... И вот видите, ваш аттестат у меня!..

Оноприенко упивался торжеством своей сыскной — теперь бы сказали: шерлок-холмсовской — пронизательности. Я же чувствовал себя дурак-дураком, краснел и бледнел, и не мог к своему негодованию выдать из своего горла ни единого звука...

Майор продолжал шумно торжествовать.

— Да, г. Русанов, в качестве Л. вы были красноречивее и даже один момент слезу недурно подпустили... А, право, слабые у вас баллы! — почти сочувственно произнес Оноприенко, поглаживая одной рукой свои бакенбарды, а другой — развернутый перед ним на столе совсем еще свежий аттестат. — Очевидно, вы юноша не без способностей... Но зачем же это для других-то все стараться?.. Впрочем, это дело меня уже не касается. Политически преступного я в вашей деятельности пока ничего не вижу, если не считать, что вы изволили назвать своей фамилией некое за сим скрывшееся и до сих пор неразысканное лицо... Может быть, скажете, кто это был?..

Я в негодовании мотнул отрицательно головой.

— Как знаете-с... Да этот господин, кстати, кажется, уже найден... А теперь вы имеете отвечать за прожительство по чужому виду, за укрывательство беспаспортного, за совершение

под чужим именем действий, нарушающих права о состояниях и т. п., — все вещи, влекущие за собой общую уголовную, а не специальную политическую ответственность... Из Третьего отделения вы отправляетесь в Дом предварительного заключения.

И двери огромного здания на Шпалерной, которое в конце 70-х годов считалось царской администрацией столь же образцовым, как двадцать лет спустя рекламировавшиеся на весь свет Кресты, — двери «Предварилки» захлопнулись за мной, отделив меня от внешнего мира в состоянии немого отчаяния. Особенно первые две недели я жестоко страдал от стыда и гнева на себя. Я был посажен в корпус чисто уголовных, вдали от политических заключенных, вдали от тех нитей идейной солидарности внутри Дома и идейной связи с товарищами на свободе, которые были созданы в течение четырех лет, проведенных на Шпалерной подсудимыми по большому процессу. Меня считали даже повидимому за какого-то довольно опасного мошенника из письменных. И я слышал, как на вопрос вполголоса одного надзирателя обо мне:

— А это кто, мальчонка-то безусый?

Другой надзиратель махнул рукой и тоже вполголоса ответил:

— Из молодых да ранний... Купеческий сынок... Протер глаза отцовским денежкам-то, да и накатай фальшивых векселей... За подлог...

У меня, повторяю, не было никаких сношений с революционерами ни внутри, ни снаружи, не было посылок с воли, ни денег, ни писем, ни книг. Даже книгами из тюремной, хорошо подобранной политическими библиотеки, я не мог надлежащим образом пользоваться помимо содействия политических же заключенных, потому что только путем соблюдения правильной товарищеской очереди можно было получать наиболее интересные и особенно сильно читавшиеся вещи.

Отсутствие добавочных съестных припасов с воли меня всего менее заставляло страдать. Я так наголодался за последние полгода жизни в Питере, что с удовольствием ел и казенный суп, в котором больше гнилого лаврового листа, чем свежего картофеля или капусты, и казенную кашу, трещавшую на зубах всеми остатками деятельной мышинной жизни в крупе, и куски казенного мяса, которые натягивались под зубами, как тетива тугого лука! Я даже стал полнеть от сидячей жизни. Зато меня жестоко удручало внутреннее состояние.

Другие товарищи, — горько думалось мне, — и старше меня, и мои ровесники, если уже теряли свободу, если даже жертвовали жизнью, все-таки могли быть довольны тем, что их дея-

тельность оставляла полезные плоды. А что сделал я для идей, для революции, для народа? И мне вспоминались мои более усердные, чем удачные занятия с рабочими; мучительное недоумение, которое оставляли во мне споры между различными течениями революционной интеллигенции; моя жизнь на Симбирской, закончившаяся этим нелепым скачком через корзину; столь же нелепая история с пятью копейками на Большой Дворянской; писание реклам о необыкновенном средстве против потери волос в маленькой каморке у Николаевского вокзала; и, наконец, приключения последних дней: аттестат Л. на столе у Оноприенко и — я в одиночной камере Дома предварительного заключения!..

И добро бы за что-нибудь путное! Когда я решил разорвать всякую связь с «привилегированным» прошлым и работать нелегально, я был готов на всяческие испытания и не без внутреннего удовлетворения повторял: «блаженны вы, которых ижденут и рекут на вас всяк зол глагол». Меня «ижденули», но как героя гимназической мелодрамы, а «зол глагол» — Русанов сидит «за подлог»!..

Эти мысли кусали меня часами, как злые собачонки, — именно собачонки, ибо в них не было даже ничего большого и трагического, — пока я крутился целый день в своей маленькой казенной келье с привинченной к одной стене железной доской вместо стола, с прилаженной к другой стене железной рамой для постели, с высоко поднятым к потолку небольшим окном, через которое проникал ко мне неопределенный свет бесконечно длинных летних дней и белых ночей Петербурга.

И чтобы забыться, я старался целиком войти в обиход тюремной жизни, в шесть часов получая из рук надзирателя швабру с энергичным напутствием «пол натирать», в семь часов снимая с откидывавшегося в двери окошечка большой кусок черного хлеба и об'емистую кружку горячей воды при столь же энергичных восклицаниях разносивших эти предметы уголовных: «хлеб!»... «кипяток!»... и т. д.

Однажды, вдоволь нагоревавшись по тому поводу, что все товарищи, очевидно, меня забыли, — да и на что им я, невидный и непрактичный до нелепости студентик? — я вдруг услышал в непривычный час легкий шорох у двери. Окошечко упало. Сквозь него раздался тихий вопрос знакомого мне надзирателя, высокого молодого литовца, который, мне чувствовалось, один смотрел на меня не без симпатии:

— Номер 37-ой? Вы — Русанов, Николай Сергеевич?

— Да, я.

— Вот вам фунт чаю от политических и в нем записка...

Смотрите, не попадитесь...



И, подав пакет, он захлопнул дверцу и быстро удалился по коридору.

Я узнал позже, что он был распропагандирован политическими и сам через несколько лет сидел в Доме предварительного заключения, уже как революционер!

Мои руки слегка дрожали от волнения, когда я распаковывал ловко заделанный пакет. В великолепном душистом чае я нашел от одного из старост корпуса, где помещалось наибольшее число политических, записку, в которой говорилось, что от товарищей с воли была сообщена моя история, и что отныне политические заключенные будут обращаться со мной, как со своим... Мне писали, что Л., который счел нужным явиться теперь из своей засады к судебному следователю для допроса, и Богданович, здоровье которого, кстати сказать, становится все хуже, оба рассказали товарищам о моем приличном поведении во время последнего приключения, что Мурашкинцев, Арцыбушев и другие заинтересованы моей судьбой, и что как только кончится предварительное следствие, меня постараются взять до процесса на поруки. Мне сообщали, что на мое имя внесено в тюремную контору несколько десятков рублей на случай, если бы я захотел выписать себе что-нибудь с воли, и что, впрочем, мне будут посылаться в тюрьму разные съедобные вещи для улучшения моего казенного пайка и книги...

Нечего и говорить, как подействовала на меня эта дружеская записка. С души свалилось тяжелое бремя. Конечно, оставалась досадная сторона ликвидации моего нелегального положения по совершенно посторонней причине, имеющей очень отдаленное отношение к революции. Но я теперь знал, что люди вполне определенных убеждений ничего не находили плохого в моем поведении во время катастрофы, а скорее наоборот. Словом, оставалось только вооружиться терпением и провести с наибольшей пользою время моего предварительного заключения.

Подавлявшаяся различными неблагоприятными условиями моей предшествовавшей жизни в Питере жажда знания охватила меня теперь с удвоенной силой. Я принялся читать с утра до вечера и гораздо позже, — в долгие часы белых ночей, — тщательно конспектируя то, что казалось мне интересным. У меня еще до сих пор перед глазами большой лист бумаги первого полученного мною чайного пакета, на который я перенес наиболее значительные места из «Оснований политической экономии» Рикардо. А приобретенную мною из тюремной лавочки тетрадь я всю исписал выдержками из диссертации Зибера<sup>89</sup> о Рикардо, «Опыта о законе народонаселения Мальтуса» в библиковском переводе, одного тома физиократов на французском и т. п. преимущественно экономических вещей.

Между тем мое заключение затягивалось. В первые же два три допроса судебным следователем и меня в отдельности, и нас вместе с Л., у меня получилось впечатление, что меня, вероятно, скоро выпустят на поруки. Следователь, из молодых и, может быть, сам еще помнивший огорчения, которые он претерпел от официального классицизма в гимназии, относился к нам очень сочувственно. С его губ не сходила улыбка, когда он ставил нам вопросы о том, как мы 18-летнего Русанова превратили в 25-летнего Л., а некоторые забавные перипетии моего экзамена в Третьей гимназии с даровым пансионом в Третьем отделении он пространно диктовал с моих слов своему секретарю, откровенно хохоча и повторяя: «пожалуйста, пожалуйста, побуквальнее».

Через неделю все показания были с меня уже сняты. Вина моя была настолько ясна и подкреплена таким обилием письменных свидетельств, что предварительное следствие было закончено. Но между тем как Л. жил у поручителя на свободе, меня продолжали держать в тюрьме. Товарищи, ждавшие со дня на день моего освобождения, недоумевали. Позже я узнал от своего защитника, что препятствовало моему выходу на поруки Министерство народного просвещения, которое горело желанием обрушить всевозможные кары на голову святотатца, осмелившегося подрывать основы с таким трудом водворяемого на Руси классицизма. Особенно негодовал на меня тогдашний попечитель петербургского округа, один из князей Волконских<sup>90</sup> (чуть ли даже не сын декабриста Сергея), который случайно присутствовал на одном из моих ответов и счел нужным сказать несколько любезных слов трудолюбивому экстерну, но только все изумлялся моему юному виду.

Чтобы покончить со всей этой трагикомической историей, я забегу несколько вперед и скажу, что все же в начале августа, накануне убийства Мезенцева, добрейшему Владимиру Александровичу Варгунину удалось меня взять на поруки, а в ноябре нас с Л. судил суд присяжных и оправдал при громких рукоплесканиях публики, которая состояла преимущественно из отцов, матерей и детей, жестоко страдавших от толстовской системы и поднесших нам после вердикта несколько букетов цветов...

Наш процесс превратился, действительно, в процесс всего правительственного классицизма. И как защищавший меня по просьбе Никольского и Грацианского знаменитый в то время цивилист Павел Антипович Потехин, так и адвокат Л., — забыл теперь фамилию этого видного криминалиста, — извлекли все, что только можно было извлечь из этой благодарной темы. При-

существовавшие то хохотали, то негодовали, по мере того, как разворачивались обстоятельства дела и обрисовывалось трудное положение Л. Присяжные внимательно вслушивались в подробности и ставили нам вопросы, в которых с самого начала ясно проглядывало намерение оправдать нас. Прокурор обвинял больше для проформы и сам указывал на смягчающие вину обстоятельства. Хуже всего для нас вел себя председатель суда (за что и был на следующий же день изрядно отхлестан газетами), который все время старался изобразить нашу вину в виде серьезного государственного преступления, сближал мое держание экзаменов за Л. с моими дурными политическими знакомствами и отрицательными идеями. Его поведение приписывали давлению на него Министерства народного просвещения.

Меня это ведомство всячески старалось допечь. Когда после оправдания, опираясь на рекомендацию принявших во мне участие тогдашнего ректора университета, известного ботаника Бекетова, и профессора уголовного права Таганцева, я сделал попытку зачислиться студентом на юридический факультет, то из Министерства народного просвещения мне было отвечено, что по распоряжению свыше у меня отнято навсегда право поступить в какое бы то ни было учебное заведение. А когда я выразил желание держать через год экстерном экзамен на кандидата прав, то столичная полиция заявила, что в виду отзыва обо мне Министерства народного просвещения она не может выдать мне требующегося и для этого экзамена свидетельства о благонадежности. (Это удовольствие мне пришлось, повинувшись велениям судьбы, отложить на 33 года, а именно до весны 1911 г., когда я, уже несколько лет как возвратившись на родину, после четверти века, прожитой мною за границей в качестве эмигранта, получил от Демидовского лицея диплом на кандидата юридических наук). Со времени моего приключения 1878 г. особым указом вменялось в обязанность всем экстернам представлять для экзамена свои засвидетельствованные полицией фотографические карточки.

## ГЛАВА VIII

Я — литератор. — Приключение в «Русской Правде» — С. Н. Кривенко. Гирс, Нотович. — Мои фельетоны в «Новостях». — Я перехожу в «Дело».

Отрезанный от возможности утолить жажду знания официальным путем, я решил, ничуть не отказываясь от своих радикальных знакомств, засесть серьезно за книги и вместе с тем попробовать удовлетворить другой с каждым днем мучительно нараставшей у меня потребности: во что бы то ни стало проникнуть в литературу. Учась, учить других, сразу многих других, проводить свои убеждения путем печати, служить идее пером — что может быть, казалось мне тогда, завиднее этой участи? Уже несколько лет во мне смутно бродило сознание, что я могу писать не очень хуже прочих, — все в мире относительно, не так ли? Мои гимназические сочинения для себя и для других, составлявшиеся мною лет с пятнадцати рефераты, несколько стихотворений, понравившихся довольно широким кругам, планы литературных работ, которые я особенно развивал Мурашкинцеву и Арцыбушеву и которые встречались ими по большей части сочувственно, — все это укрепляло во мне мысль: а ведь, пожалуй, я литератор, во всяком случае больше литератор, чем что-нибудь другое. Я инстинктивно искал почвы, где бы я не был таким неловким, до смешного непрактичным, каким я оказывался до сих пор при столкновении с жизнью и людьми, оказывался тем более, чем более усердствовал, чтобы не отставать в практической работе от своих товарищей. Несколько благоприятных случайностей, но опять-таки не совсем лишенных комической стороны, помогли осуществиться моему желанию.

Через студента Горного института, некоего Белорусцева, приходившегося племянником столь известному в то время если не широкой публике, то литературным кругам Григорию Захаровичу Елисееву<sup>91</sup>, я в конце 1878 г. познакомился с сотрудником «Отечественных Записок» Сергеем Николаевичем Кривенкой<sup>92</sup> (с самим Елисеевым я познакомился лишь позже). И это

на фланг. Начав свой жизненный путь служением крайнему левому крылу утопизма, он кончил крайне правым народником, с упованиями на самодержавное правительство, с антисемитизмом, который когда-то называли «социализмом дураков» и т. д.

76. Берви («Флеровский»), Вильгельм Вильгельмович (Василий Васильевич) — (1829—1918), сын профессора, организатор петиции в пользу арестованных в 1861 г. студентов и автор протеста против Сената, осудившего тверских мировых посредников в 1862 г.; арестован по делу о «Казанском заговоре»; выслан на поселение в Кузнецк, Томской губ., затем последовательно переводился в Вологду, Тверь, Любань. Автор двух книг («Положение рабочего класса в России» (1869) и «Азбука социальных наук» (1871), изданных чайковцами и имевших колоссальный успех среди молодежи. Имел связи с кружком долгушинцев и выслан за это в Шенкурск в 1874 г. и после этого активной роли в движении не играл, но все время подвергался административным стеснениям.

77. Липранди, Иван Петрович (1799—1880), генерал, военный историк, автор статей о раскольниках. Это тот самый Липранди, который погубил петрашевцев (1849).

78. Свидетельские показания Русанова очень ценны. Они не оставляют и тени сомнения в том, что лавризм в общем и целом был представителем правого крыла мелких товаропроизводителей. Если говорить современными терминами, то их трактование революции было довольно таки близким к либеральному, культурническому и должно было раздражать истинных демократов-революционеров и утопических социалистов левого крыла.

79—81. Оратор, произносивший эту речь, как увидит читатель ниже, назывался Плехановым. Иронизирующей судьбе было угодно сделать так, что под конец своей жизни, будучи уже идеологом пролетариата, а не мелких производителей, Плеханов в споре с революционным марксизмом, который представлен был Лениным, повторил *mutatis mutandis* аргументы тогдашних своих оппонентов. Как это могло случиться?

Дело в том, что в истории утопического социализма, представляющего собой в общем и целом идеологию мелкого производителя, пауперизируемого и пролетаризируемого капитализмом, мы видим, как правое крыло, т. е., своего рода реформизм, сменяется господством левого крыла, господством революционного утопизма. Затем тогдашний реформизм вновь воспроизводится на расширенной основе, обогащенный новым опытом, новыми обобщениями и опять сменяется революционным утопизмом, в свою очередь воспроизведенным на новой, обогащенной базе. Такое развитие «не по прямой линии, а по спирали» (Ленин) проходит все же в рамках кустаризма, т. е., в рамках «неприятия капитализма».

Затем происходит «перерыв постепенности». Высшая форма революционного утопизма (в России, — в частности и конкретно, — народофильство) сменяется качественно уже иным реформизмом, а именно трэд-юнионистскими настроениями вновь образующегося слоя, а именно пролетария-сына, отвергающего, по закону противоречия, «неприятие капитализма»; образуется — в противовес утопизму — первая форма реализма, но реализма еще не революционного, а приспособленческого. Эта стадия впоследствии сменяется подлинным пролетарским социализмом, т. е., реализмом революционным. Но на первых порах, как антитезис революционному утопизму, пророчившему гибель капитализма, развивается первоначальный, неоформленный, до конца недоуманный реформизм, но реформизм пролетария-сына, делающий центральным пунктом своего миро-

воззрения утверждение о необходимости так или иначе, но получше устроиться в «капиталистическом доме» и о возможности такого устройства.

История революционного движения учит, что в реформистской стадии пролетарской психоидеологии рабочий класс учитывает опыт борьбы правого крыла кустаризма, в революционной стадии — опыт левого крыла и левого центра. И в движении пролетариата мы видим — в качестве уже другой обстановки — то же самое движение по спирали, т. е., — по закону «отрицания отрицания» — смену тезиса и антитезиса, каждый раз воспроизводимых на все более и более расширенном, обогащенном основании. Конечно, это движение по спирали часто является, главным образом, логическим, а не хронологическим, т. е., являет иногда картину сосуществования, будучи в основе своей последовательной сменой положений.

Судьба Плеханова и состояла в том, что будучи в лагере утопизма представителем левого центра, т. е., бакунизма, и почувствовав его крах, Плеханов не умозаключил впоследствии к левому крылу, т. е., народофильству, а апеллировал к реализму, но реализму в основе, даже пожалуй в скрытой своей основе, к реформистскому, трэд-юнионистскому.

Это может показаться парадоксальным, ибо известно, что Плеханов, как представитель группы «Освобождение Трудя», стоял как будто бы на позиции революционного марксизма, но дело в том, что, внешне восприняв эту позицию, Плеханов все же выявлял иногда такое толкование этой позиции, которое привело его в конце-концов к ревизионизму, к оппортунизму.

Когда трэд-юнионистская стадия развития пролетариата стала сменяться стадией революционного марксизма, этот последний возглавил Ленин, а Плеханов стал к нему в оппозицию. Внимательное изучение Плеханова 80—90-х г.г. показывает, что такое распределение ролей было вовсе не случайным, что в своей полемике против революционного утопизма Плеханов, указав правильно ряд его ошибок, перешел уже тогда к подлинной ревизии взглядов Маркса. Отсюда у него непонимание важности ориентировки на мировую ситуацию, ставка на крайнюю длительность развития капитализма в России, недооценка значения известных слоев крестьянства, недооценка роли пролетариата, как гегемона и в демократической, и в социалистической революции, т. е., непонимание того, что Ленин классически сформулировал так: «Без свободного союза беднейших крестьян с пролетариями не прочна демократия (т. е., не удастся демократическая революция. — Ив. Т.) и невозможно социалистическое преобразование (т. е., не удастся и революция социалистическая. — Ив. Т.)» (т. XIV, ч. II, стр. 328).

82. Плеханов, Георгий Валентинович (1857—1918), земледелец, глава «Черного Передела», лидер группы «Освобождение Трудя», блестящий представитель революционного марксизма, а под конец своей политической карьеры социал-соглашатель и оборонец.

83. Говоруха-Отрок, Юрий Николаевич (1852—1896). Дворянин Курской губ. Принимал деятельное участие в сходках, происходивших у него на квартире. Арестован в г. Екатеринославе в 1874 г., содержался в Петропавловской крепости. В 1878 г. по процессу 193 признан виновным во вступлении в противозаконное сообщество. Приговорен к лишению всех прав. Впоследствии сотрудничал в реакционной газете «Южный Край», а с 1889 г. стал заведующим литературным и театральным отделами в «Московских Ведомостях». Его псевдонимы: Ю. Николаев, Юрко, Елагин.

84. Мышкин, Ипполит Никитич (1848—1885), земледелец; в 1875 г. пытался освободить Чернышевского, арестован, присоединен к процессу 193, сказал там от лица подсудимых замечательную речь, осужден